

ПРЕДИСЛОВИЕ

В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградированных представителей лондонского населения.

Не видя никакой причины, в пору писания этой книги, почему подонки общества (поскольку их речь не оскорбляет слуха) не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, — я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах: славные ребята (большой частью любезные), одеты безукоризненно, кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости — прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался (исключая — Хогарта) с жалкой действительностью. Мне каза-

лось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, — вечно крадутся они, охваченные тревогой, по самым грязным тропам жизни, и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная виселица, — мне казалось, что это необходимо и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в меру моих сил.

Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в «Опере нищего» жизнь воров изображена так, что, пожалуй, ей можно позавидовать: капитан Макхит, окруженный соблазнительным ореолом власти и завоевавший преданную любовь красивейшей девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабых зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, — кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же склонностями не послужит капитан предостережением и ни один человек не увидит в этой пьесе

ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице.

В самом деле, Гэй высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра Эдуарда Бульвера «Поль Клиффорд», который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме, автор и сам не ставил перед собой подобной задачи.

Какова же изображенная на этих страницах жизнь, повседневная жизнь вора? В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями, каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавчиков, нет ничего от того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали «большую дорогу». Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и вонючие логовища — обитель всех пороков; притоны голода и болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются, — что в этом соблазнительного?

Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступник, чтобы приятись им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-

нибудь Макарони в зеленом бархате — восхитительное создание, ну а Сайкс в бумазейной рубашке невыносим! Какая-нибудь миссис Макарони — особа в короткой юбочке и маскарадном костюме — заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки; ну а Нэнси — существо в бумажном платье и дешевой шали — недопустима! Удивительно, как отворачивается Добродетель от грязных чулок и как Порок, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится Романтикой.

Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже когда она выступает в обличье тех людей, которые столь превознесены в романах, а посему я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке Плуто, ни одной папильотки в растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения писал.

О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, — довольно непоследовательно, как смею я думать, — утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаясь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как

бы там ни было, я уверен в одном: такие люди, как Сайкс, существуют, и если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое, более мягкое человеческое чувство в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти — об этом я не берусь судить, но я уверен, что дело обстоит именно так.

Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или невозможны, правильны или нет. Они — сама правда. Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда, ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных; надежда еще тлеет в них; последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие, и худшие стороны нашей природы — множество самых уродливых ее свойств, но есть и самые прекрасные; это — противоречие, аномалия, кажущиеся невозможными, но это — правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо, если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность.

В тысяча восемьсот пятидесятом году один чу-
дак-олдермен во всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было.

Но и в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году остров Джекоба (по-прежнему место незавидное) продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему.

ГЛАВА I

*повествует о месте,
где родился Оливер Твист, и обстоятельствах,
сопутствовавших его рождению*

Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно — рабочий дом. И в этом рабочем доме родился, — я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае, на данной стадии повествования, — родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы.

Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя; по всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны.

Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста. Потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычаем сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и Природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос.

Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки и слабый голос невнятно произнес:

— Дайте мне посмотреть на ребенка — и умереть.

Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать:

— Ну, вам еще рано говорить о смерти!

— Конечно, Боже избавь! — вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. — Боже избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу!.. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью! Какой у вас милый ребеночек!

По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку.

Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными, бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад... и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала.

— Все кончено, миссис Тингами! — сказал наконец врач.

— Да, все кончено. Ах, бедняжка! — подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. — Бедняжка!

— Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать, — сказал врач, медленно натягивая перчатки. — Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой каши. — Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: — Миловидная женщина... Откуда она пришла?

— Ее принесли сюда вчера вечером, — ответила старуха, — по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны, но откуда и куда она шла — никто не знает.

Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.

— Старая история, — сказал он, покачивая головой. — Нет обручального кольца... Ну, спокойной ночи!

Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца.

Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Оливер Твист! Закутанный в одеяло, которое было доселе единственным его покровом, он мог быть сыном дворянина и сыном нищего; самый родовитый человек едва ли смог бы определить подходящее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени, он был отмечен и снабжен ярлыком и сразу занял свое место — приходского ребенка, сироты из работного дома, смиренного голодного бедняка, проходящего свой жизненный путь под градом ударов и пощечин, презираемого всеми и нигде не встречающего жалости.

Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче.

ГЛАВА II

*повествует о том, как рос, воспитывался
и как был вскормлен Оливер Твист*

В течение следующих восьми или десяти месяцев Оливер был жертвой системы вероломства и обманов. Его кормили из рожка. О голодном малютке-сироте, лишенном самого необходимого, власти работного дома доложили надлежащим образом приходским властям. Приходские власти с достоинством запросили властей работного дома о том, нет ли какой-нибудь особы женского пола, проживающей в доме, которая могла бы доставить Оливеру Твисту утешение и питание, столь для него необходимые. На это власти работного дома ответили, что такой особы нет. Тогда приходские власти великодушно и человечно порешили, что Оливера следует поместить «на ферму», или, иными словами, препроводить его в отделение работного дома, находившееся на расстоянии примерно трех миль, где от двадцати до тридцати других юных нарушителей закона о бедных копошились по целым дням на полу, не страдая от избытка пищи или одежды, под материнским надзором пожилой особы, которая принимала к себе этих преступников за семь с половиной пенсов с души. Семь с половиной пенсов в неделю — недурная сумма на содержание ребенка; немало можно приобрести на семь с половиной пенсов — вполне достаточно, чтобы переполнить желудок и вызвать